

**Я** иду по городку астронавтов. Иду и мысленно повторяю чуточку насмешливые слова Сергея Огонька, приятеля, с которым только что вспоминал фронтовые дни: «Откажи мои ларинги<sup>1</sup>, к архаизму тебя потянуло, Саша». Архаизм — это старые самолеты, которым никогда уже больше не суждено летать.

А вот и аэродром. Разлинованная на квадраты, посыпанная мелким желтым песком стоянка «ястребков». Аккуратно зачехленные, выстроились они рядом с ангаром. Давным-давно отзвенели упругие крылья, умолкли моторы, отговорили вороненые пушки и пулеметы. Только гвардейские знаки на зеленых килях да алые созвездия на фюзеляжах — метки победных атак — напоминают о ратной славе их.

«Сколько лет, сколько зим!» — грустновато, как-то растроганно приветствую «чайку»<sup>2</sup>, что стоит в молчаливом ряду отслуживших ветеранов неба. Грустновато, потому что и сам я в сравнении с хозяевами городка астронавтов выгляжу, пожалуй, устаревшим летуном. Чудно! Я — архаизм. И «чайка» тоже.

— Арха-изм? А знаете ли... — Это уже вслух. Ненароком вырвалось.

Я оглянулся — не услышал ли кто? — и неподалеку увидел стройную девушку в светло-голубом комбинезоне. Она стояла задумавшись. Закусив губами ветку сирени, никого, казалось, не замечала. Может, сравнивала нынешние звездные корабли с этим смешным бипланом, обтянутым перкалью. А может, пыталась представить себе тех, кто когда-то бросал эту крупную машину в огненные омыты.

Что-то знакомое показалось мне в лице девушки, что-то дорогое, но далекое-далекое, как минувшая юность. Бывает же: впервые повстречаешься с человеком, а кажется, вроде бы знаешь его...

«Чайка», песня моя боевая! Сколько было друзей у нас, а вспомнить одного из них, на которого очень покожа эта девушка с веткой сирени, оказывается, не так-то просто.

<sup>1</sup> Ларинги — ларингофон.

<sup>2</sup> «Чайка» — истребитель И-153.

Сирень... До чего же знакомо и как-то по-особому близко это слово. Сирень? Ну, да же. Не цветы, а... И вдруг отчетливо вспомнилось: «Сирень», я — «Стрела...» Давние позывные. Она... Груня Веткина, наша радиостка. Неужели?

Я подошел к незнакомке. Она удивленно посмотрела на меня:

— Что-нибудь хотите сказать?

— Да, Груня,— как бы провалившись сквозь время, кивнул я головой.

— Не угадали. Меня зовут Леной.— Девушка опустила ветку сирени и выжидательно посмотрела на меня.

— Простите. Я думал о сорок втором году.

«Эх ты, старый летун, совсем смешался. Разве она могла быть в то время? Ну, двадцать, двадцать два ей... Но как похожа на...»

— А почему — Груня и сорок второй? — Она внимательно и, может, даже просительно посмотрела на меня.

Не ответить ей было нельзя.

— Один вопрос,— перебил я.— Ваша фамилия Озерова?

— Веткина.— Девушка почему-то вздохнула. Показалось, что она потеряла интерес к разговору.

Веткина. Лена Веткина. Все равно я не ошибся. Не мог ошибиться. Лена — дочь Груни и Алексея. И мне тут же захотелось рассказать ей о моих друзьях все, что сохранило сердце.

2

Наш полк базировался тогда на большом, хорошо оборудованном аэродроме. Самолеты стояли на опушке негустой рощицы, в капонирах, замаскированных сетками под цвет догорающей осени. Тут же, вблизи, были двухкомнатные, построенные еще до войны, домики — мы их почему-то называли кубриками — для летчиков и техников. Штаб располагался поодаль, в просторной землянке.

Нас было трое в звене — Алексей Озеров, Сергей Огонек и я. Большой разницы в возрасте не было, и обращались мы друг к другу на «ты». Только в присутствии начальства называли Алешу на «вы».

Однажды, готовясь к очередному вылету, мы сидели в своем кубрике и колдовали над бортовыми картами Подмосковья, испещренными стрелками, кружками, крестиками, цифрами.

Кто-то постучал в дверь и, не дождавшись ответа, открыл ее.

У порога стояла девушка в пилотке, ладно пригнанной гимнастерке, короткой темно-синей юбке и широковатых для нее кирзовых сапогах.

— Младший сержант Веткина. С приказанием от начальника штаба.

Догадавшись, что посыльная не знает, кто старший по званию — все мы были в кожаных тужурках без знаков различия, — первым выпрямился Сергей:

— Сержант Огонек. Сережа, между прочим, — для чего-то добавил он.

— Лейтенант Озеров, — представился командир.

— Алеша, — подсказал сержант.

— Тоже — «между прочим»? — усмехнулась Веткина. — А меня зовут Груней.

— О! — выпалил Огонек. — По-древнеримски это Грация. Груня опустила большие серые с талой голубинкой глаза и вздохнула:

— Не знаю. Просто Аграфена...

Мы тоже не знали, что означало в древнем Риме Грунино имя, но в девушке что-то было от Грации — мифологической богини красоты.

— Ну, ладно, я пришла передать приказание, — нежно розовея от столь возвышенных слов, сказала посыльная.

Она сообщила, что с завтрашнего дня позывные наземной полковой радиостанции — «Сирень», позывные Озёрова — «Стрела-125», Огонька — «Стрела-126», мои — «Стрела-127».

Так познакомились мы с новой полковой радиисткой, которую впоследствии стали звать просто Сиренью.

### 3

Как-то после изнурительных вылетов на штурмовку Сергей не пошел с нами на отдых в кубрик.

— Ты чего, Огонек? — искренне удивились мы, зная, что при случае он никогда не отказывался «придавить сачка минут на шестьсот».

— Подышу свежим воздухом, на листопад погляжу, — кивнул он в сторону позолоченной осенью рощицы.

И во второй раз, и в третий — то же самое: «Подышу свежим воздухом, на листопад погляжу...»

— Что с ним? Не заболел ли? — спросил я Алексея.

— Заболел, — с явной ironией отозвался командир. — Вон колобродит по опушке да на штабную землянку зырит.

— Сирень, значит?

Алексей пожал плечами и ничего не ответил.

За ужином нам перепало в виде поощрения по чарке за успешный вылет. По пути из столовой повеселевший Сережка, выслушав наши намеки относительно его прогулок в рощице, загадочно произнес:

— Не только ради себя радеет гвардии сержант Огонек! И я вам докажу. Пусть откажут мои ларинги — докажу!..

Приняв слова Огонька за обычную болтовню, мы в тот же вечер забыли о них.

— Дави «сачка», гвардии левый ведомый,— легонько подтолкнул его Алексей к кровати.— Завтра вылет.

На другой день к вечеру, когда звено возвратилось с патрулирования над железной дорогой, Огонек, переодевшись, молча выскользнул из кубрика. Пропадал он где-то около часу. И вдруг сияющий, словно козырек самолетного фонаря на солнце, ворвался в комнату с восклицанием:

— Я говорил вам: докажу! Сказано — сделано,— и торопливо начал бросать под кровать все, что казалось ему в этот момент ненужным: унты, планшеты, двухпудовую гирю, какие-то банки и даже коробку с костяшками домино.

В кубрик вошла Груния. В руках она держала кожаную сумку с инструментом и запасными частями.

Огонек ликовал. Алексей и я недоуменно смотрели то на него, то на радиостку.

— У вас ларингофоны не в порядке? — спросила она.— Давайте проверю. Если не исправны, заменю.

Вот оно что! «Откажи мои ларинги...» Но ведь мы только-только были в воздухе и никто из нас не жаловался на их плохую работу. Ну и штукарь Серега!

— Присаживайтесь, товарищ младший сержант.— Огонек пододвинул девушке стул.

Она села, сняла пилотку, поправила темно-каштановые волосы.

— Не хотите ли чаю за компанию? Мы всегда, если не заняты, чаевничаем в это время.— Сережка в один момент водрузил на стол чудом появившийся термос, стаканы, достал НЗ — шоколад, печенье.

Какой чай? Никогда мы его не пили в кубрике. Однако чтобы не скомпрометировать друга, Алексей и я подтвердили: да, мол, чай — приятная вещь.

И вот уже дымят горячие стаканы, шуршит серебристая фольга, похрустывает печенье. Что-то завирает Сережка и

в ответ стеснительно улыбается Груня. А мы с Алексеем чувствуем себя самыми последними прохвостами.

— Пока я мотался туда-сюда,— врет Огонек,— шлемофончики, Груня, отволок в мастерскую старший сержант Буранов. Так ведь, Саша? Напрасно поторопился! На месте бы и отремонтировали. А теперь выходит, что я — трепло. И Груню зря оторвал от дела.

А шлемофончики наши вполне исправны и лежат они сейчас в самолетных кабинах. Трепло ты и есть, Огонек! Да разве скажешь об этом? И мы хороши: киваем, оправдывая твою брехню. Ну, погоди!

— Расскажите о себе,— прервав Сергея, попросил Алексей девушку.

— Что же рассказывать-то? — искренне удивилась Груня.— Родилась в Москве. Знаете Арбат? Вот там и жила с бабушкой. Мама умерла рано, не помню ее. А папа — он тоже летчиком был — погиб на Халхин-Голе... Окончила десятилетку. Началась война — попросилась на курсы радиостанций. Вот и все.

Мы помолчали.

— Ну, ладно,— девушка поднялась.— Заболталась я. Надо идти. Спасибо за чай.

— Приходите, Груня,— пригласил ее расторопный Сергей.

— Ларингофоны проверять?

И она, и мы с Алешей насмешливо посмотрели на Огонька.

— Просто так приходите, Груня,— сказал командир.— А то мы здесь помаленьку дичаем...

Спустя несколько дней она снова пришла.

— Чай отменяется. Идемте гулять. Осень-то какая!

Под ногами хрустел мелкий валежник, шуршали опавшие листья — желтые, розоватые, лиловые. Груня собирала их и, любясь, спрашивала:

— Красиво, правда?

Она шла впереди, часто останавливалась, рассматривая диковинную опаль, чему-то радостно улыбалась.

— Давайте сядем. Будем делать венки. Вот так,— показала Груня.— Сумеете?

— Попробуем,— ответил Огонек за всех.

Она быстрее всех сплела венок. Подошла к Алексею, сняла фуражку и надела золотистую корону на его русую голову. Сережка, бросив рассыпавшиеся листья, обалдело вытаращил глаза: как же это он, кому мы обязаны дружбой

с Груней не удостоился чести первым получить венок из ее рук?

Девушка немножко отошла от командира и, словно забыв, что нас четверо, как-то особенно, посмотрела. Потом, вдруг спохватившись, примерила венок и Огоньку. С тосклившим чувством я напялил на голову изделие собственных рук.

— Лесные боги! — весело воскликнула Груня.

Прогулки по осенней роще стали потребностью. Мы уже звали Груню Сиренью и «зачислили» ее в свое звено. Хорошо с ней, празднично. Но вот как-то, сославшись на срочную работу, не пошел с нами Огонек. И в другой раз не пошел.

— Недотепа ты, Саша, — невесело буркнул он мне. — Сирень любит Алешку. Разве когда-нибудь она смотрит так на тебя или меня? То-то. И нечего нам, браток, апостольничать при них.

Командиру Сергей сказал напрямик, по-свойски:

— Сирень — хорошая девушка, Алеша. Верно, Саш? Поэтому...

— Так уж получилось, ребята... — как бы оправдываясь, начал Алексей.

— Правильно получилось. Береги ее, — продолжал Огонек. — Больше разговоров на эту тему не будет.

4

С началом зимы полк перебазировался на полевой аэродром. Мы снова поселились втроем. Три низких железных койки, три врытых в землю чурбака, стол из горбылей, печка-времянка да коптилка из медной гильзы снаряда.

Однажды, после двухдневного затишья, командир пришел из штаба эскадрильи и, довольно потирая руки, спросил:

— Скучаете? Завтра чуть свет подскочим на запасную площадку. Оттуда — полеты наперехват. Достаньте карты. Вот этот район. — Озеров показал остро отточенным красным карандашом, — надо изучить до последней кочки: может, летать придется по одному, не заблудиться бы...

Моторы заворчали до рассвета. Выходя из землянки, мы встретили запыхавшуюся Груню.

— Ваши гудят, соколы?

— Наши, Сирень, наши.

Огонек и я направились к своим «чайкам». Минут через пятнадцать пришли и Алексей с Груней. Она помогла ему

накинуть парашютные лямки, застегнула шлемофон. Оглянувшись, торопливо поцеловала.

Поднимая вихрь снежной пыли, самолеты подруливали к старту. А Сирень смотрела вслед и долго, должно быть, до самого взлета, махала рукой: счастливо, соколы!..

Лена умела слушать. Она сидела молча, не перебивала меня и только изредка просила повторить что-нибудь. Давнее становилось близким, зrimым не только для меня, но и для нее. Я ничего не таил от Лены, потому что рядом со мной была как бы не она, а Груня, и мне столько же лет, сколько ей.

— А Сирень смотрела вслед и долго, должно быть, до самого взлета, махала рукой: счастливо, соколы!..

— И в этот день... — Лена беспокойно подалась вперед, словно навсегда хотела запомнить не только слова, но и тон, каким они произнесены, и выражение лица, на котором в подобных случаях отражается боль пережитого. — И в этот день, — повторила она, — погиб мой отец?

— Нет, Лена, Алексей еще много летал. А об этом дне пусть он расскажет сам... Вот, почитайте.

— Дневник?

— Это единственная запись об очень трудном бою и очень большом чувстве. Берегу тетрадь с того дня, когда самолет командира взорвался во время тарана...

— Когда это было?.. А мама?.. Вы еще расскажете, да? Приходите сюда завтра! Обещаете?

— Обещаю.

Она проводила меня до автобуса. Прощаясь, Лена посмотрела на меня так, что без лишних вопросов было понятно: девушка ожидает новой встречи. Встречи с юностью отца и матери.

5

«Сегодня мне стукнуло двадцать один. На моей тумбочке ветка сирени. Лепестки ее посыпают прозрачными росинками. В них отражаются веселые радуги. А сама ветка так похожа на маленькую сказочную люстру, что, кажется, прикоснись к ней, и зазвенит, запоет она, наполняя палату переливами радуги.

На соседней тумбочке цветов нет. Стало быть, кто-то знает о моем дне рождения, и сирень — только для меня.

— Очухался, летун? — басит скуластый рыжеволосый великан с забинтованными до локтей руками.— Добро. Как зовут-то?

— Алексеем.

— Угу. А меня Спирей окрестили. И что за Спиря, черт его, попа, знает...— Помолчав, он, как мне показалось, обиженно кивнул в сторону вазы с цветами: — Записка там. Динкина. Эх, и присуха, я тебе скажу! И с душой видать. Пока ты не в себе был, молол всякую несуразицу,— шагу не отходила. А сёдни цветочки спозаранок, и письмецо. Именник, что ль?

— Двадцать один.

— Очухался, значит? — безо всякой связи повторил Спиридон.— Ну, тяни на поправку. Тяни. А Динку, чур, не того... Уж больно жалко девку. Приглядиста. Да ведь ей, наверное, и восемнадцати-то нет...

Тяжело вздохнув, Спиридон повернулся ко мне спиной: читай, мол, ни к чему мне секреты чужие.

Под вазой и в самом деле лежал вдвое сложенный листок из тетрадки. Округлым, по-школьному старательным почерком на нем было выведено:

«Алексей Петрович!

От чистого сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю самого-наисамого лучшего в жизни. Поправляйтесь поскорее, Алексей Петрович.

Медсестра Д. Лугова.

Да, я принесла вам сирень. Вы, наверно, любите ее, потому что, когда были очень больны, все время повторяли: «Прощай, сирень!..»

Дина».

Дина, Дина, сестренка моя! Если бы ты знала, какой сиренью бредил я, почему прощался с ней...

Наше звено, сидевшее в засаде на скрытой площадке, по тревоге подняли наперехват девяти немецких бомбовозов. Шли они на областной город Р. тремя группами с разных направлений.

Нас предупредили: «юнкеры» могут идти в сопровождении «мессершмиттов». Впрочем, мы и сами знали: вражеские бомбардировщики побаиваются летать без огневого прикрытия, и потому не надеялись на легкий исход боя.

Взлетели «по-зрячему» — кто вдоль укатанной снежной поляны, отороченной заиндевевшим кустарником, кто в

сторону от ее продольной оси: некогда вырливать по всем правилам и разворачиваться с наветренной стороны. Вскоре все три «балерины» — лучшего названия для И-153 не найти: легкие, маневренные, они виражили буквально вокруг собственного крыла,— взяли заданный курс.

Я иду наперехват центральной тройки Ю-87, Огонек — левой, Буранов — правой. Сегодня мы порознь и атакуем, и обороняемся. Каждый только за себя.

«Стрела — сто двадцать пять», Я — «Сирень». — Это с аэродрома. Родной, ласковый и чуточку тревожный голос.— Слышишь, «Стрела»? Не забывай...»

Спасибо, Груня. Хорошо, что ты не договорила — о чем нельзя забывать. Это наша тайна. Твоя и моя. И от этих слов твоих как-то теплее на душе, увереннее: не один я — ты со мной, и все однополчане, и те, кто подарил мне «балерину».

Курс 300 — это северо-запад. Там, на подступах к городу — встреча с врагами. Как обычно, они крадутся, пожалуй, под самой кромкой облаков. Есть ли облака на маршруте? Посмотрим. Во-он они, на пять с половиной — шесть тысяч метров. Надо, «чаечка», забираться на верхотуру. Прибавим газку. Вот так. Обороты винта увеличились, скоростенка — 360. Теперь возьмем ручку на себя. По-о-лезли!

Хорошо берем высоту. Теперь поглядим, нет ли кого у нас на хвосте: не очень приятно, когда бандит целит в затылок из пушек и пулеметов... Сзади никого нет. И слева. И справа тоже. Помню, как Груня шутила: «Шея у тебя, Алешенька, будто на шарнирах,— кругом поворачивается». А как же? Иначе срубят.

Медленно сдавливает горло. Тяжелее становится дышать. Может быть, шлемофон тут застегнут? Нет, его подгоняла сама Сирень. А, это высота... Откроем вентиль кислородного баллона. Вот и легко, свободно стало, как на земле, рядом с Груней...

Доложить обстановку?

— Я — «Стрела — сто двадцать пять». Курс триста, высота четыре тысячи восемьсот, скорость триста шестьдесят. Поиск противника.

Облака. Самые обыкновенные, какие стараются обходить в обычном полете. Человеку, ни разу не побывавшему в них, они покажутся преисподней. А нам с тобой, «чайка», хорошо здесь. Видишь, лиловые громадины. Они клубятся, сшибаются друг с другом. Кажется, врежемся в гигантский валун и не останется от нас ни одной косточки. Но ты не бойся, «балеринка», это не валуны. Твои крылья режут эти

ватные колоссы пополам. Мы не съебемся с пути: у нас есть приборы — наши хорошие друзья.

Нас никто не зрит. Но мы, «чайка», видели: внизу — два «юнкера». Нам нельзя атаковать сверху: убьют. Только снизу, с хвоста. Вниз! Берем левого. А это что?..

— «Сирень», я — «Стрела — сто двадцать пять». Слева по курсу четыре «мессершмитта». Четыре «тощих»... Атакую левого «лапотника». Огонь по правому крылу! Еще огонь!.. «Мессы» — рядом.

Да, «чаечка», они рядом, и уходить нам некуда: по прямой — догонят и расстреляют, вверх, в облака — не успеем. Сейчас они попытаются взять нас в круг и, словно дисковой пилой, изрезать в клочья... Вот они кинулись в атаку, желто-брюхие шакалы. Один сверху, второй снизу, два по бокам. Думать. Думать быстрее!

— «Сирень», я — «Стрела — сто двадцать пять». Иду в лобовую!

Не подведи, «чайка», плюнь им в хищные морды реактивным залпом. Вот так! Ага, шарахнулись в стороны. Из пулеметов по верхнему. Так! Жаль, что далековато... Ты слышишь, Груня? Они боятся лобовой, боятся эрэсов. Меня боятся. Жми, «чайка» на всю железку. Пока «тощие» развернутся, заберемся повыше, к солнцу.

Они снова идут, ищеки. Верхний, лидер, высунулся вперед. Обнагел. Жаждет крови. Но теперь у нас высота. Ни черта нам не страшно, «чайка». Доложим Сирени и рубанем. Давай, давай, пока нас не видят против солнца. Получай, гад! Что такое? Он летит... Кончились эрэсы? Плохо. Совсем плохо, «балеринка»... Нас догоняет правый «месс». Он висит сзади. Прицеливается. Злорадствует. Скользить! Ручку вправо. Правую педаль вперед до отказа. Газ убрать. Так. Мы тормознули, и фриц проскочил выше. Слышишь, «чайка», резанули пушки? В белый свет...

— «Сирень», я — «Стрела — сто двадцать пять». Атакую.

Горит «мессершмитт», Груня. Как щепка, облитая керосином. А те трое развернулись. У них бешеная скорость. И люди в кабинах бешеные. Будут мстить. Что ж, попробуем, у кого покрепче нервишки. Пойдем снова в лоб... Видишь, «мессы» изрыгают огонь. Белые и красные струи. Фейерверк смерти. Прямо, прямо! У нас нет эрэсов, но есть пулеметы. Сто пуль в секунду. Смотри, смотри, «чайка», они дали залп и пошли врассыпную. Веером. Слабаки. Лобовой испугались...

А ты что дрожишь сама-то? Ранили? Сволочи крестатые!  
Как они тебя...

— «Сирень», я — «Стрела — сто двадцать пять». Пробита правая верхняя плоскость. Повреждены левый элерон и фонарь кабины... Не слышу, «Сирень». Почему молчишь? «Сирень», разбит приемник... Они опять, «месссы»...

Доклевывать идут. Нет, не выйдет! Очередь! Правый вираж и вниз. Один проскочил. А что делать с этими двумя? Огрызаться! Огрызаться во что бы то ни стало. Тяжелая ты стала, «балеринка»... Ну, развернись, развернись... Вот так. Огоны!

— «Сирень», я — «Стрела». Кончились боеприпасы. На хвосте три «месссершмитта». Тяну домой...

Цветной дождь. Горячий. Свинцовый. Влево — дождь. Вправо — дождь. Горячий. Свинцовый. Влево — дождь. Вправо — дождь. Вниз — дождь. И грохот. И дикий вой моторов. Еще влево. Теперь вправо. Снова вниз. Проклятый ливень огня. Как жарко в кабине. И темно. И дымно.

— «Сирень», на самолете пожар. Пикирую... «Сирень», загорелся мотор. В огне верхние плоскости. Пикирую... «Сирень», огонь сбить не могу. Прощай, Сирень! Груня, прощ...

Чем-то острым резануло в плечо и в ногу. Ох, Груня, видно, отлетался, от любил твой Алешка»...

Спиридон качает рыжей головой и усмехается:

— Который день смотрю на тебя и думаю: здорово парень врезался в Динку. Вторую тетрадь мусолит. Стишки, что ль?

Эх, Спиря, Спиря, наивная и добрая душа. Зачем же Динка-то, если была «чайка» и есть на свете та, что дороже всех.

— Нет, Спиридон, не стишки. Вспоминаю последний бой. В такую переделку не попадал еще никогда.

— Жарко было?

— Жарко — не то слово. Думал, сгорю заживо. Уже прощался было с друзьями. И вдруг так захотелось жить, Спиридон, летать, драться, что случилось почти невозможное.

— Да-а, история, — приглушенно пробасил великан. — Ну-ну?

— Разворотило мне плечо и ногу, едва-едва в сознании. А надо прыгать. Самолет падает камнем, вот-вот взорвется. Попробуй, переломи его, выведи из пике, если вконец обес силел...

Кое-как одолел. Отстегнул привязные ремни. А выпрыгнуть не могу. И так и сяк — не могу. И вдруг «месс» как гробанет из пушек! Напрочь горящие крылья отсек. Вздрогнула умирающая «чайка», перевернулся вниз открытой кабиной — и полетел я камнем вниз. Последнее, что запомнил, — рванул кольцо парашюта... Остальное сам знаешь...

— Редкостно, брат! Без сознания шлепнуться оземь и живым остаться? Редкостно.— Спиридон снова покачал огненной головой и, помолчав, добавил: — Ну, ничего. Раз очутился, дела пойдут на поправку. А там и в полк.

Скорее бы. К друзьям. К Груне...»

6

Вопросы. Вопросы. Разве можно оставить их без ответа? И кто знает, то ли тебе, Лена, отвечаю я, то ли вспоминаю вслух о себе и друзьях своих — Алеше, Груне, Сергееве. Впрочем, что же о Сережке-то? Он здесь, в городке, и ты еще много раз встретишься с ним.

7

С задания возвратились на основной аэродром. Со стоянки шли медленно, не подымая глаз, избегая ответов на тревожные, вопрошающие взгляды однополчан.

— Я в штаб,— устало сказал Сергей.— Доложу... А ты иди в землянку, Саша. Расскажи Груне.

В штабе легче. Там поймут по-солдатски. А как же сней? Алеша был для нее не просто другом. Эх, Сирень, Сирень...

В землянку она вошла вслед за мной.

— Ты все знаешь, Саша? — очень тихо спросила Груня.

Да, я знаю все: бортовой радиоприемник донес до меня лебединую песнь Алеши: «Прощай, Сирень...»

— Саша, а как же я? — Словно осиротевший ребенок, стояла Груня под низким сводом землянки, который, казалось, безжалостно давит на нее всей своей трехногатной тяжестью.— Как же?..— И, рыдая, упала на опустевшую Алешину кровать.

Плачь, Груня. Выплачь девичье горе свое. Дорого обойдутся эти слезы убийцам солнца твоего. Плачь, Сирень.

Я знаю, как горьки горячие слезы твои. Мне кажется, я ощущаю их на своих губах. А может быть, я плачу сам?..

Пришел Огонек, хмурый, подавленный. Сел, не раздеваясь, на врытый в земляной пол чурбан и печальным взглядом смотрел на рыдающую Грунью.

8

— Елена Алексеевна,— негромко позвали девушку,— вас просят в отряд.

— Я сейчас,— вытирая невысохшие слезы, ответила Лена.— Пожалуйста, два слова о маме. Подробнее потом расскажете. Ведь мы теперь с вами друзья, правда? Самые близкие. И навсегда...

Друзья... Лена... Но о Груне нельзя в двух словах. Я провожу Сиренюшку до конца аллеи и расскажу то, что успею. Как самому близкому человеку. А завтра, и послезавтра, и каждый день, пока хоть одно невысказанное слово останется в душе моей, буду говорить о Сирени, чудом оставшейся такой же молодой, светлой и чистой, какой была давным-давно...

С Алешей Сирень больше не встретилась, хотя позже узнала, что он остался жив. Груня уехала в город О., куда эвакуировалась ее бабушка. Там и родилась ты, Лена. Родилась после смерти отца...

В сорок четвертом Сирень окончила школу воздушных стрелков-радистов и стала летать на штурмовике ИЛ-2. Мне и Огоньку она писала письма. Ты почитаешь их сама, Лена... А незадолго до конца войны, теплым апрельским днем, старшины Веткиной не стало; вместе с командиром экипажа взорвалась на «летающем танке». Погибла в небе, как и Алеша...

Ну, вот и конец аллеи. Тебе пора, Лена, в отряд, к друзьям-космонавтам. Приду ли завтра? Обязательно!

9

Я снова пришел на свидание с юностью. А ее, второй Груни, почему-то нигде не видно. Курю папиросу. Другую. Значит, не придет.

Сиротливая скамья. Пустынная аллейка. Одинокий, словно что-то потерявший человек.

— Грустим? — неожиданно услышал я насмешливый голос Сергея.— Свидание, брат, откладывается. Так и велела передать.

Вволю испытав мое терпение, Огонек серьезно сказал:

— Улетела наша Сиренюшка на космодром. А «Сирень» — ее позывные. Хотели «Ласточкой» назвать, да куда там! На своем настояла. У меня, говорит, особые причины на то. Так что ожидай, брат...

Чего ожидать — Сергей не сказал: все было ясно по его выразительному взгляду, устремленному в распахнутую глубь неба.